



Обещанный свет

Роман Кубов

Роман Кубов

Обещанный свет

«Автор»

2026

Кубов Р.

Обещанный свет / Р. Кубов — «Автор», 2026

В доме у маяка по стеклу проступают слова, а тепло живёт в нём само по себе. Вера приехала продать бабушкин дом, Матвей - подготовить снос маяка. Им вдвоём придётся разобрать обещание, данное шестьдесят лет назад, потому что дом до сих пор его держит.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Дом номер семь	8
Глава 2. Осмотр	12
Глава 3. Фотография	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Роман Кубов

Обещанный свет

Пролог

Я приходил к этому дому три раза до той ночи и сто раз после неё, но рассказать хочу про ту, потому что с неё всё началось и ею всё держится.

Дом стоял на Маячной улице, седьмой от угла, с облупившейся краской на наличниках и с окном, которое смотрело прямо на маяк. Окно это было не заперто никогда, и я знал про это, потому что знал про неё всё, что можно узнать за два лета подряд, если ходить мимо чужого окна на закате и не уметь проходить мимо него просто так.

В тот вечер я пришёл сказать, что ухожу. Рейс был длинный, северный, на четыре месяца, и мне дали два дня на берегу, и один из двух дней я просидел на скамейке у маяка, глядя, как свет ходит по воде, потому что боялся идти к ней больше, чем боялся моря, а это было удивительно, потому что моря я боялся по-настоящему.

Она открыла мне сама. На ней был платок, повязанный по-домашнему, и руки были в муке, и она сказала:

- Мать на смене до утра. Заходи, если не страшно.

Мне было страшно. Я вошёл.

В доме пахло печью и яблоками, и половицы у окна были тёплые, как живые, и я ещё тогда подумал, что дома бывают разные: одни просто стоят, а другие держат, и этот был из вторых. Она это увидела по мне и сказала:

- У нас так всегда. Дом у нас держит слово. Бабушка говорила: если в этих стенах что-то пообещали вслух, оно уже не денется никуда. Садись, я допеку и сяду.

Я сел. Я смотрел, как она ходит по кухне, и думал, что четыре месяца - это сто двадцать ночей, и что в каждой из них не будет ни этой кухни, ни этого света, ни её рук в муке, и что сказать про это нужно сегодня, потому что завтра утром я уже буду на судне, а послезавтра слова станут бесполезны, как письмо, отправленное не по тому адресу.

- Тоня, - сказал я. - Я ухожу в рейс. На четыре месяца.

Она поставила противень и обернулась, и лицо у неё было такое, какое бывает у людей, когда они услышали то, что ждали, но не хотели услышать.

- Я знаю, - сказала она. - У нас на улице все знают, кто и когда уходит. Я думала, ты придёшь попрощаться ещё на прошлой неделе.

- Я не прощаться пришёл, - сказал я.

Она молчала, и молчание это было не пустое, а полное, как бывает полным стакан, налитый до самых краёв, и я понял, что если сейчас не скажу, то не скажу уже никогда, потому что смелость у меня была морская, а не береговая, и береговая кончалась у её порога.

- Я вернусь, - сказал я. - Тоня, я вернусь. Через четыре месяца я сойду на берег и приду сюда, и если ты к тому времени не передумала смотреть на меня с крыльца, я буду приходиться каждый вечер, пока ты не передумаешь смотреть. Это обещание. Я его говорю в этом доме вслух, чтобы оно держалось.

Она смотрела на меня, и у неё были руки в муке и глаза, в которых свет стоял так же ровно, как свет маяка стоит над водой, и она сказала:

- Жду. Я тоже говорю это вслух, раз у вас тут слово держится. Жду, и не четыре месяца, а сколько нужно. Это моё обещание, и я его тоже говорю в этом доме, чтобы держалось.

И половицы под нами скрипнули один раз, коротко, как отвечают, и мы оба услышали это, и она засмеялась тихонько, и я засмеялся, потому что смеяться было нужно, иначе мы оба заплакали бы, а плакать в таком разговоре рано.

Потом мы пили чай с тем, что она допекла, и говорили про разное, про то, что маяк в этом году красить не будут, и про то, что у Павла Григорьевича, который был тогда ещё не старый капитан, а просто капитан, родилась дочь, и про то, что зима, говорят, будет ранняя, и всё это были разговоры, которыми люди занимаются, когда им на самом деле нужно молчать вдвоём, и мы молчали внутри этих разговоров, и это было лучше любых слов.

Я ушёл за полночь. У порога она остановила меня и сказала одну вещь, и вещь эту я потом носил с собой, как носят вещи, которые нельзя положить в чемодан:

- Если вернёшься не ты, а письмо, я письмо не поверю. Письма врут, потому что их пишут на бумаге, а бумага всё стерпит. Я поверю только тебе, живому, на этом пороге. Договорились?

- Договорились, - сказал я.

Ночь была светлая, та самая, белая, которая бывает в июне и в которую не верят те, кто живёт южнее. Я шёл к причалу и один раз обернулся на углу: окно на Маячной горело, тёплое, ровное, как свеча, поставленная за того, кто в море.

Рейс был длинный, и я не буду его рассказывать, потому что рейсы все одинаковые для тех, кто на берегу, и все разные для тех, кто в море. Я вернусь к нему потом, в том месте, где он кончился не так, как думалось.

А тогда, на рассвете, перед тем как сойти на причал с четырёх месяцев северного льда, я стоял на палубе и смотрел на город, и город поднимался из тумана крышами и верхушкой маяка, и я думал только об одном окне на улице, которая была седьмой от угла, и о том, что обещание, данное вслух в тёплом доме, уже почти исполнено, и что осталось только дойти.

Почему я не дошёл - это история, которую я не смог бы рассказать тогда и которую никто не смог бы рассказать за меня потом, потому что правда у неё была простая, а вид такой, что простой её никто не видел. Я скажу её здесь один раз и больше не вернусь к ней, потому что моя правда в этой истории короткая, а вся история длинная, и рассказывать её должны другие, те, кто остался на берегу.

Дверь мне открыла её мать. Она стояла в дверях и смотрела на меня так, как смотрят люди, которые уже всё для себя решили, и решение это было не про меня, но против меня.

- Антонины нет, - сказала она. - И не будет для тебя. Она себе другое выбрала, поспокойнее. А ты, моряк, иди своей дорогой, и не ходи сюда больше, чтобы людям не было что говорить.

Я спросил, можно ли передать ей слова. Она сказала, что передаст, а только лучше бы нечего было передавать. В кармане у меня лежала записка, которую я писал всю зиму, и я не достал её, потому что слова, которые в ней были, говорят в лицо, а не через руки, которые их не ждут. Записка осталась у меня, и я носил её потом всю жизнь, и это тоже часть этой истории, хоть и маленькая.

Вечером того же дня я уехал. Куда - это неважно, потому что история эта не про то, куда уехал я. Перед тем как сесть в поезд, я достал из кармана то, что лежало там рядом с запиской: маленькую стекляшку из маячного фонаря, выпавшую при замене линзы, которую я подобрал в ту нашу ночь, когда свет ходил по воде. Я повертел её в пальцах и спрятал обратно, потому что стекло это было тёплое, как её половицы, и выбросить его было нельзя, а вернуть было некому.

Поезд отошёл. Город остался за спиной, и маяк на нём остался, и окно на Маячной улице осталось, и всё это вместе стало тем, что у моряков называется берег: место, куда возвращается, даже если не знаешь, ждут ли.

Антонина узнала про мой приход от соседки, через день. Что ей сказала дома мать и что ей не сказала мать - этого я не знал никогда, и никто не знал, кроме двух этих женщин, но соседка рассказывала потом, что Антонина после того дня долго сидела у окна на маяк и

ничего не ела, а потом стала писать письмо, и писала его несколько ночей подряд, как пишут то, что не умеют писать иначе.

Письмо было короткое, и начиналось оно со слов "приходи к маяку на рассвете", а дальше шло то, ради чего стоило жить все четыре месяца рейса. Антонина хотела отнести его сама, туда, где стояли суда, и спросить, куда ушёл тот, кто приходил, и это было бы правильно, потому что письма, написанные таким почерком, доходят всегда, но письмо дошло не туда, куда было написано.

Мать нашла его раньше. Она достала его из стола, прочитала от первого слова до последнего и спрятала туда, где его не найдут, потому что была уверена, что дочери виднее, что письмо это ей на беду, и что беду эту она отведёт сама, по-матерински, не спрашивая. Письмо легло в фортепиано, под подкладку чехла, и легло там крепко, на много лет.

Дом слышал это. Дом вообще слышал в тот год много, потому что слово в нём было дано, и слово держалось, и ждать ему, как выяснилось потом, пришлось дольше всех нас.

Шестьдесят лет.

Глава 1. Дом номер семь

Автобус из города шёл в Светломорск сорок минут, и я ехала у окна, потому что у окна мне всегда думается лучше, и смотрела, как сосны по сторонам дороги становятся ниже, а небо становится больше, и думала, что уезжала я из этого города в девятнадцать лет, а возвращаюсь в тридцать три, и что возвращение это не из тех, о которых пишут в письмах.

Водитель высадил меня на конечной, у магазина с облупившейся вывеской, и автобус уехал обратно, и я осталась на дороге одна, с двумя сумками, и сумки были тяжёлые, потому что в одной лежали вещи, а в другой - пенал с инструментами, и пенал я везла отдельно от всего, как вожу его всюду уже восемь лет, потому что скальпель, кисти и костяной шпатель - это то, чем я зарабатываю на жизнь, а то, чем зарабатываешь на жизнь, нельзя класть в общий багаж.

Улица Маячная начиналась от угла магазина и шла вверх, к маяку, и я пошла по ней пешком, потому что до дома номер семь было десять минут, и потому что перед таким делом, как этот дом, мне нужно было эти десять минут.

Город за год не изменился, и за десять, и за двадцать, потому что такие города не меняются, а только выцветают понемногу, как старые открытки, и я узнавала каждый дом, и каждый дом узнавал меня, и это было то ощущение, ради которого люди не продают старые дома, и то ощущение, из-за которого я приехала его продать.

Дом стоял седьмой от угла, и был он покрашен в цвет, который называется "морская волна", и краска на наличниках облупилась, и табличка с номером висела криво, и я постояла перед ним немного, потому что заходить в дом, в котором выросла не ты, а твоя бабушка, но в котором проведены все твои лета до шестнадцати, - это то же самое, что открывать книгу, которую читала в детстве: ты помнишь её одной, а она оказывается другой.

Ключ был у меня, и ключ этот был тот самый, бронзовый, с рыбкой на дужке, и бабушка отдала его мне в четырнадцать лет и сказала тогда одну фразу, и фразу эту я помню до сих пор:

- Держи, Верочка. Ты в этом доме свой человек, а свои люди ключей не одалживают.

Я открыла дверь и вошла, и первым, что я почувствовала, было тепло.

Тепло было настоящее, живое, как бывает в доме, где только что топили печь и где кто-то ходил по полу совсем недавно, и я остановилась в прихожей и прислушалась, потому что дом был пустой уже год, и топил его последний раз кто-то из соседей прошлой осенью, когда приезжали оформлять документы, и никакого тепла в нём быть не могло.

- Печь, - сказала я вслух. - Не топлена.

Печь в кухне была не топлена, и это я проверила сразу, потому что проверять сразу - это профессиональное: я сунула руку в поддувало и достала оттуда холодную золу, и зола была старая, серая, и тепла в ней не было никакого, а тепло в доме было, и оно стояло ровное и спокойное, как стоит вода в закрытом стакане.

Я пожала плечами и объяснила это себе так, как объясняю всё, что мне не нравится: дом стоял закрытый, стены толстые, сентябрь был тёплый, и тепло накопилось. Объяснение было плохое, потому что накопленное тепло за год исчезает за неделю, но у меня не было лучшего, и я уложила его в тот угол головы, где у меня лежат объяснения, которыми я пока пользуюсь.

Дом был такой, каким я его помнила, и не такой. Прихожая с вешалкой, на которой висел старый штормовский плащ, и плащ этот висел тут с тех пор, как я была маленькая, и кухня с печью и столом у окна, и комната с диваном, накрытым покрывалом, и вторая комната, та, что смотрела окном на маяк, и в этой комнате стояло фортепиано.

Фортепиано было старое, немецкое, с подсвечниками по бокам, и бабушка играла на нём по вечерам, и играла она одно и то же, и я в детстве думала, что это и есть музыка вообще, и я подняла крышку и нажала одну клавишу, среднюю, и звук вышел ровный и чистый, и струна

внутри не дрогнула даже от пыли, и я закрыла крышку, потому что музыка в пустом доме - это не то, с чего начинают расхламление.

Я обошла дом с осмотром, и осмотр этот занял час, и за час я составила в голове список: окна целы, кроме одного шпингалета; половицы местами гуляют; на чердаке сухо; проводка старая, но живая; мебель вся бабушкина, и мебели этой хватит на два дома. Дом был в порядке, и это было странно, потому что пустой дом за год обычно худеет, а этот стоял полный и крепкий, и стоял он так, как стоят то, что стоит не для себя.

Окно на маяк я заметила сразу, потому что не заметить его было нельзя. Окно выходило прямо на маяк, и маяк стоял на своём холме, старый, каменный, с облупившейся краской на верхушке, и свет его, как мне сказали в городе, горел до сих пор, на автомате, потому что маяк числился в реестре и ждал решения своей судьбы. Шпингалет на окне был открыт, и створка стояла на проветривании, и я тронула её рукой, и подумала, что нужно закрыть, и не закрыла, потому что рука моя остановилась на полпути, и остановилась она не от сквозняка, а от мысли, которая пришла мне в голову без спроса: бабушка никогда не закрывала это окно. Никогда, ни в один мой приезд, ни в жару, ни в шторм, и я в детстве спрашивала её про это, и она отвечала всегда одно и то же, и ответ этот я вспомнила только сейчас, стоя у окна:

- Это окно не моё, Верочка. Я его не закрываю, потому что оно не мне открыто.

Тогда я думала, что бабушка говорит загадками, потому что взрослые часто говорят загадками, когда не хотят отвечать. Сейчас я стояла у этого окна и думала, что взрослая я не хочу отвечать ничуть не меньше, и что окно это я тоже не закрою, и что это решение я приняла так быстро, что даже не успела его обдумать.

Вечером я разложила вещи и позвонила маме. Мама взяла трубку после второго гудка, и голос у неё был тот самый, деловой, которым она говорила со мной последние полгода, с тех пор как мы договорились про дом.

- Доехала? - спросила мама.

- Доехала. Дом в порядке.

- В порядке - это хорошо, - сказала мама. - Вера, я говорила с риелтором. Она приедет в четверг на осмотр. Если дом в порядке, выставяем в октябре. Ты же помнишь, что я обещала покупателю срок?

- Помню, - сказала я. - Октябрь.

- И ты помнишь, что у тебя контракт, - сказала мама. - Музейный архив тебя не будет ждать вечно. Месяц - это месяц.

- Месяц - это месяц, - согласилась я.

Мама помолчала, и молчание это было то самое, которое я научилась различать за последние годы: молчание человека, который хочет сказать что-то другое и не говорит, потому что другое это будет про чувства, а про чувства у нас в семье говорят реже, чем про сроки.

- Ты там одна? - спросила мама.

- С домом, - сказала я. - Дом не считается?

- Дом, - сказала мама. - Дом считается. Ты с ним всегда лучше ладила, чем с людьми. Это у тебя от бабушки. Она тоже с домом ладила, а с людьми по расписанию.

- Бабушка ладила со всеми, - сказала я. - Просто со всеми по-разному.

- Пусть так, - сказала мама. - Ты ешь нормально? Там магазин есть?

- Магазин есть, - сказала я. - И пекарня есть. И ем я нормально. Мама, я взрослая.

- Взрослая, - сказала мама. - Взрослые тоже едят. Ладно. Слушай дальше.

- Бабушкины вещи, - сказала мама. - Там есть то, что можно продать. Фарфор. Ты посмотри.

- Я посмотрю, - сказала я. - Спокойной ночи, мама.

- Спокойной ночи, Вера. Спасибо тебе.

Я положила трубку и подумала, что "спасибо тебе" мама говорит мне за то, что я делаю то, что она просит, и что за то, что я чувствую по поводу того, что я делаю, никто спасибо не говорит, и что это правильно, потому что чувства мои - это мои, и спасибо за них было бы странно.

Я заварила чай и села у окна на маяк, и чай был в бабушкиной кружке, и кружка была та самая, с корабликом, и за окном уже темнело, и маяк стоял тёмный, потому что свет его зажигался позже, и я сидела и думала о том, как я буду разбирать этот дом, и мысль эта была ровная, как список, и внутри списка было всё: вещи, бумаги, фарфор, книги, фортепиано, которое нужно будет вывозить отдельно, потому что такие фортепиано не продаются на месте, а уезжают в город, к тем, кто умеет на них играть.

И в этот момент я увидела отражение.

В стекле, поверх тёмного неба и тёмного холма с маяком, отразилась комната за моей спиной: шкаф, дверь, край стола, и в отражении этом, у двери, стоял человек.

Я обернулась. За моей спиной была пустая комната, и дверь была закрыта, и у двери никого не было, и это я проверила не глазами, а всем телом, потому что пустая комната ощущается иначе, чем комната, в которой кто-то стоит, и комната за моей спиной была пустая.

Я повернулась обратно к окну и посмотрела в стекло ещё раз, и в стекле было только моё лицо и комната без человека, и я сидела и смотрела в это стекло, и внутри у меня было не страшно, и это было самое странное из всего, что случилось со мной за день, потому что отражение человека там, где его нет, должно было меня напугать, а оно меня не напугало, и вместо страха во мне было то, что бывает, когда вспоминаешь слово, которое вертелось на языке весь день: спокойное такое узнавание.

Пахло морем. И ещё пахло керосином, слабо, как пахнет керосин в лампе, которую только что погасили, и запах этот шёл не от печи и не от лампы, потому что ни печь, ни лампа не зажигались, и шёл он как будто от стекла, и я подумала, что окна в старых домах пахнут по-разному, и что это окно пахнет так, как пахнет комната, из которой только что вышел человек.

Я посидела ещё немного, и допила чай, и вымыла кружку, потому что мытьё посуды - это то, что помогает мне думать, и думала я о том, что дом старый, и стекло старое, и отражения в старом стекле живут своей жизнью, и что это всё объясняется, и что объяснение я найду завтра, потому что завтра у меня будет светлый день, а в светлый день всё объясняется лучше.

Я закрыла дверь в комнату на маяк и ушла спать в кухню, потому что в бабушкиной комнате мне спать не хотелось, и это тоже было решение, которое я приняла быстрее, чем успела обдумать.

Утром меня разбудил скрип половицы. Скрипнул пол в комнате, и скрип был короткий, как шаг, и я лежала и слушала, и дом был тихий, и тишина эта была не пустая, а внимательная, и я встала и пошла в комнату, и в комнате было пусто, и половица у окна была тёплая.

Тёплая, как бывает тёплая половица, по которой только что прошли, и я постояла на ней босиком, и подумала, что сны мне снятся разные, и что наяву такого не бывает, и что это был не сон, потому что во сне не чувствуешь тепла босой ногой.

Вечером того же дня, когда я разбирала бабушкины книги и ставила их в коробки, потому что книги - это то, с чего я начинаю любой дом, в окне на маяк запотело стекло. Запотело не всё, а снизу, как запотевают стекло от дыхания, хотя на улице было тепло, и отопления в доме не было, и я подошла к окну и посмотрела на этот туман изнутри, и туман этот был не от меня.

И пока я смотрела, по стеклу изнутри провела рука, и рука эта была не моя, и стекло под ней стало прозрачным, и на прозрачном этом месте проступило слово.

Жди.

Слово было написано по-русски, печатными буквами, как пишут пальцем на стекле, и написано оно было изнутри, и стекло было целое, и комната была пустая, и слово стояло передо мной ровно и спокойно, как стоит ответ, который давно готов и только ждал, пока его спросят.

Я смотрела на него долго. Я не закричала и не убежала, потому что мне не было страшно, и я не могла бы объяснить почему, и я сделала то, что делаю всегда, когда вижу то, чего не могу объяснить: я достала телефон и сфотографировала стекло, и на фотографии стекло было чистое, и слова на нём не было.

- Хорошо, - сказала я дому. - Я поняла. Жду.

И половица у окна скрипнула один раз, коротко, как отвечают.

Глава 2. Осмотр

Я приехал в Светломорск в воскресенье утром, и город встретил меня так, как встречают все маленькие города: без интереса. Автобус ушёл обратно, и я остался на площади у магазина с одной сумкой и с ощущением, что приехал не туда, хотя адрес в командировочном листе был тот самый.

Город я до этого видел один раз, на фотографии, и фотография была старая, и город на ней был не этот, а тот, который был здесь раньше, и я думал, что города на фотографиях вообще живут дольше настоящих, и что это справедливо, потому что настоящим городам приходится работать, а городам на фотографиях не приходится ничего.

Районная администрация стояла на главной улице, и стояла она так, как стоят администрации в маленьких городах: с флагом и с яблоней у крыльца, и я зашёл в неё в десять утра, потому что встреча у меня была в десять, и потому что опаздывать на встречи - это не моя привычка.

Крылова приняла меня сама. Кабинет у неё был простой, и сама она была простая, из тех людей, которые носят один и тот же пиджак каждый день и называют это стилем, и я такие штуки уважаю, потому что они честные.

- Савельев? - сказала она. - Садитесь. Вы по маяку?

- По маяку, - сказал я. - Управление направило. Осмотр, заключение, две недели.

- Две недели - это хорошо, - сказала Крылова. - Две недели - это как раз то, что нам нужно. Вы знаете вводные?

- Вводные знаю, - сказал я. - Маяк тысяча девятьсот первого года, в реестре, на автоматике. Эксплуатация приостановлена по состоянию. Управление рассматривает замену на автоматический навигационный знак. Моя задача - осмотр и заключение о технической возможности.

- О технической возможности, - повторила Крылова. - А я вам скажу по-простому. Маяк этот нам не нужен. Навигация здесь маленькая, суда ходят по приборам, а маяк стоит, рушится и денег просит. Знак поставить - это копейки, а маяк чинить - это миллионы, и миллионов у меня нет, и у района нет, и ни у кого нет. Поэтому заключение ваше мне нужно честное, но одно: что маяк к эксплуатации непригоден. С этим мы его выводим из реестра, ставим знак и забываем. Вы меня понимаете?

- Я вас понимаю, - сказал я. - Только заключение я напишу по тому, что увижу. Если маяк пригоден - напишу пригоден. Если нет - напишу нет.

Крылова смотрела на меня так, как смотрят на людей, которые говорят правильные вещи в неправильное время, и я это знаю, потому что такие взгляды я вижу часто, и привык к ним так, как привыкают к сквозняку.

- Инженер, - сказала она. - Я в этом городе двадцать лет. Я не прошу вас написать неправду. Я прошу вас посмотреть так, как нужно смотреть на старый дом, который всем мешает. С пониманием.

- С пониманием посмотрю, - сказал я. - Бумага всё покажет.

- Бумага, - сказала Крылова. - Вы, инженеры, все в бумагу верите. А в бумаге, Савельев, пишут то, что скажут. Вы вот что мне лучше скажите: вы вообще зачем сюда поехали? Командировка - она и есть командировка, а только в наш город командировочных давно не шлют. Тут либо свои, либо те, кому надо.

- Мне по работе надо, - сказал я.

- По работе, - сказала Крылова. - Ну по работе так по работе. Только имейте в виду: работа у нас тут одна на всех, и называется она город. Кто в городе работает по-настоящему, тот его держит. Кто бумагу пишет - тот её пишет. Разницу вы потом поймёте.

Бумага действительно всё показывает, и я в этом смысле человек верующий, потому что бумага в моей жизни всегда была честнее людей, и это не гордость, а наблюдение.

Дальше был быт. Гостиница в Светломорске была одна, и та закрыта до весны, потому что сезон кончился, а не сезон в этих местах длинный, и снимать комнату мне было негде, потому что сдавать здесь было некому, и я сидел в кабинете Крыловой и думал, где я буду жить две недели, и Крылова думала об этом же, и думала она об этом вслух.

- Есть музей флота, - сказала она. - У них там Павел Григорьевич. Он раньше пускал проверяющих. Позвоню.

- Позвоните, - сказал я.

- И ещё, - сказала она. - Вы сказали, фамилия ваша Савельев?

- Савельев, - сказал я.

- Не местная, - сказала Крылова. - У нас тут Савельевых не было.

- Дед был местный, - сказал я. - Смотритель маяка. Давно.

Крылова посмотрела на меня, и взгляд у неё стал другой, и другой он стал не потому, что она вспомнила, а потому, что она хотела вспомнить, и не вспомнила, и это было видно.

- Смотритель, - сказала она. - Ну, посмотрим. Идите, устраивайтесь. Ключ от маяка в музее, там и спросите.

Я вышел из администрации и пошёл искать музей, и по дороге я достал из сумки то, что вёз с собой отдельно от всего: дедовскую шкатулку. Шкатулка была деревянная, морёная, с замочком, и ключик от неё был у меня на шнурке, и шнурок этот я носил с собой с тех пор, как дед умер, и носил не снимая, потому что так было велено, и потому что веления я привык исполнять, даже те, которые велели мне люди, которых больше нет.

Шкатулку дед отдал мне за неделю до конца. Он сидел у себя в квартире, в своём кресле у окна, и окно у него выходило на запад, и он всегда сидел так, чтобы видеть закат, и закат этот он смотрел каждый день, как смотрят кино, которое не надоедает.

- Матвей, - сказал он тогда. - Отнеси это туда, где обещал.

- Куда, деда? - спросил я.

- Там разберёшься, - сказал он. - Дом этот стоит у маяка, седьмой от угла. Я его не искал давно, а ты найдёшь. Не открывай до срока, и не спрашивай про срок. Отнесёшь - откроешь.

- А что там? - спросил я.

- Слово, - сказал дед. - Моё. Лежит там давно, пора его вернуть.

Я не успел тогда спросить ничего ещё, потому что дед закрыл глаза, и разговор кончился, и через неделю меня не было в городе в те выходные, когда нужно было быть, и это то, про что я не люблю думать, и думаю всё равно. Шкатулку я оставил у себя, и носил её с собой по квартирам, и не открывал, потому что обещал, и обещания я держу, и это, наверное, единственное, что во мне есть хорошего.

Музей флота стоял на набережной, и стоял он в бывшем пакгаузе, и на двери его висел якорь, и внутри пахло так, как пахнут все музеи, сделанные из складов: смолой, канатом и старым деревом. Павел Григорьевич был внутри, и был он большой, седой и прямой, как бывают прямые люди, которые всю жизнь ходили по палубе.

- По маяку? - сказал он. - Ключ у меня. Осматривайте. Только наверх лезьте аккуратно, там лестница с норовом.

- Спасибо, - сказал я. - И ещё. Мне сказали, у вас тут пускали на постой проверяющих. Я на две недели. Гостиница закрыта.

Павел Григорьевич смотрел на меня так, как смотрят капитаны, когда решают, брать ли человека на борт, и решение у него занимало ровно столько, сколько ему было нужно.

- У меня тут не гостиница, - сказал он. - Но комната есть. Постелю. Завтраки мои, ужин ваш. Идёте?

- Иду, - сказал я.

Вечером того же дня я пошёл на маяк.

Маяк стоял на холме за городом, и холм был низкий, и трава на нём была выгоревшая, и маяк на этом холме был такой, каким я его себе представлял по дедовским рассказам, и не такой, потому что рассказы - это одно, а железо и камень - это другое. Камень был серый, и краска на верхушке облупилась, и дверь была железная, и замок на ней был новый, и это было правильно, потому что новые замки на старых дверях - это знак, что о двери ещё помнят.

Я открыл дверь и вошёл, и внутри пахло так, как пахнут старые маяки: металлом, пылью и керосином, и запах этот я знал с детства, потому что дед пах так всю жизнь, и я стоял в этой башне и думал, что вот это и есть то место, про которое дед говорил "там", и что "там" оказалось здесь, и что про дом, седьмой от угла, дед сказал правду, потому что дом такой действительно стоял на Маячной улице, и это я увидел, когда шёл сюда, и дом этот был выкрашен в цвет морской волны, и окно у него смотрело на маяк, и в окне горел свет.

Внизу, в служебной комнате, стоял стол, и на столе лежала книга, и книга эта была журнал смотрителей, и журналы такие ведутся на всех маяках, и ведутся они десятилетиями, и это то, ради чего стоит жить архивам, потому что в них написано всё, что было, без комментариев. Я открыл журнал и начал листать, и листал я его с конца, потому что мне нужен был год, и год этот был тысяча девятьсот шестьдесят шестой, и я нашёл его за двадцать минут, потому что журналы не прячут того, что в них написано.

Строки были разные, и почерки были разные, и один почерк я узнал раньше, чем прочитал, потому что почерк этот я видел на открытках, которые дед писал мне в детстве, и открытки эти у меня хранятся до сих пор.

"Сентябрь четырнадцатого. Ветер юго-западный. Свет исправен. Обещал".

Слово "обещал" стояло в конце записи и не относилось ни к чему, потому что в журналах смотрителей не пишут про обещания, в них пишут про ветер и про свет, и я смотрел на это слово и думал, что дед записал его сюда не для журнала, а для того, кто придёт потом, и что тот, кто придёт потом, - это я, и что шкатулка в моей сумке стала теплее, и что тепло это мне показалось, потому что дерево не греется от того, что его долго носят с собой.

Я закрыл журнал и пошёл наверх, потому что осмотр есть осмотр, и лестница была с норовом, как и было сказано, и наверху стояла линза, и линза была целая, и автоматика при ней была старая, но живая, и я записал в блокнот первые цифры, и цифры эти были плохие, потому что башня требовала работы, и работа эта стоила денег, которых у района не было, и я думал об этом, глядя на море, и море было серое, и вечер был тихий, и внизу, под холмом, горел свет в одном окне дома, седьмого от угла.

С холма я возвращался в темноте, и темнота была мягкая, и идти было легко, и я думал, что деда нет второй год, и что шкатулку его я принёс туда, куда велено, и что дом, седьмой от угла, стоит и смотрит на маяк, и что слово "обещал" в журнале написано его рукой, и что всё это вместе что-то значит, и что значит оно то, что я должен понять сам, потому что спрашивать было не у кого.

У дома номер семь я остановился. Свет в окне горел, и силуэт в окне был женский, и я стоял на дороге и смотрел на это окно, и внутри у меня было то самое чувство, которое бывает у людей, когда они приходят в место, в котором не были, но которое знают, и чувство это было тихое и ровное, и оно мне не мешало, и я записал его себе в то место, куда записывают то, что нельзя объяснить, потому что объяснять это было некому.

Дом смотрел на меня окном, и маяк смотрел на дом, и я смотрел на оба, и это было похоже на то, как стоят в круге трое и разговаривают без слов, и я не знал, о чём они разговаривают, и знал, что разговор этот про меня.

Я пошёл в музей спать. Утром мне предстояло лезть на маяк с инструментом, и две недели срока, и заключение, которого от меня ждали, и всё это было понятно и знакомо, и только

шкатулка в сумке была незнакомая, и тёплая, и она лежала в темноте и ждала своего срока, и срок этот, как я теперь понимал, был ближе, чем думал дед.

Глава 3. Фотография

В воскресенье я разбирала бумаги, и бумаги - это то, с чем я умею работать лучше всего, потому что бумага не врёт, а если и врёт, то делает это письменно, и письменное враньё я вижу сразу.

Бумаги у бабушки хранились так, как хранят их люди старой выделки: в жестяной коробке из-под печенья, и коробка эта стояла в шкафу на верхней полке, и на ней сверху лежала скатерть для гостей, и всё вместе это называлось порядок. Я сняла скатерть, и достала коробку, и поставила её на стол у окна, и открыла.

Внутри было то, что бывает в таких коробках у всех бабушек: документы на дом, старые письма в резинке, квитанции, сложенные вчетверо, и фотографии, и фотографий было много, и я стала смотреть их одну за другой, потому что смотреть старые фотографии - это часть моей работы, и часть моей жизни, и вторая часть у меня всегда получается лучше первой.

Бабушка была на фотографиях во всех возрастах, и в каждом возрасте она была узнаваемая, и узнаваемая она была по тому, как стояла, и по платку, повязанному узлом назад. На одних фотографиях она была с дедом, и деда я помню плохо, потому что он умер, когда мне было шесть, и помню я его по одному: по рукам, и руки у него были большие и тёплые. На других она была с мамой, и мама была молодая и строгая, и строгая она была тогда так же, как теперь.

И были фотографии, которых я не знала.

Фотографии эти были старые, и хранились они отдельно, в маленьком конверте, и конверт был перевязан ниткой, и нитка была завязана узлом, и узел этот был тот самый, который бабушка завязывала на всё, что считала важным, и я развязала его, потому что после её смерти всё, что она считала важным, стало моим делом.

На первой фотографии была бабушка, молодая, лет двадцати, и стояла она у маяка, и маяк был тот самый, и холм был тот самый, и стояла она не прямо, а вполоборота, как стоят люди, когда их снимают не спрашиваясь.

На второй фотографии она была с мужчиной. Он стоял рядом с ней у маяка, и стоял так, как стоят люди, привыкшие стоять рядом друг с другом, и одет он был в брезентовую куртку со знаками, которых я не разглядела, и лицо его было повернуто к ней, а не в камеру: человек этот смотрел не на того, кто его снимал.

На обороте первой фотографии было написано: "Апрель. На маяке". На обороте второй надписи не было. Я достала лупу, потому что лупа у меня всегда с собой, и стала смотреть вторую фотографию при свете, как смотрю всё, что мне попадает в руки, и при свете увидела то, чего не увидела сразу: у мужчины на фотографии на груди была бляха, и на бляхе было что-то написано, и написано было мелко, и буквы были старые, и я прочитала из них только одно слово, и слово это было "смотритель".

Я положила фотографии на стол и сидела над ними, и внутри у меня шло то, что идёт всегда, когда вещь не сходится с местом: тихая работа мысли, как ходит стрелка в часах, которых никто не заводит. Мужчины этого я не знала. Дед был другой. На всех фотографиях с дедом он стоял иначе и смотрел иначе, и стоял по другую сторону от неё, чем этот, и это было видно без слов: то, как люди стоят рядом друг с другом, - тоже слова, просто написанные не чернилами.

В коробке было ещё одно, и лежало оно на самом дне, под квитанциями: открытка, старая, с видом города, и на открытке этой город был другой, и почерк на ней был не бабушкин, и написано было одно предложение:

"Если не придёшь, буду смотреть на маяк всю жизнь".

Открытка была без подписи и без даты, и почерк был крупный, морской, так я его называю, потому что есть почерки береговые, мелкие и ровные, а есть морские, широкие, и морские

бывают у людей, которые пишут редко и поэтому пишут размашисто, и открытку эту писали давно, и писали её тому, кто жил в этом доме, и я положила её обратно на дно коробки, и коробка стала для меня другой коробкой, потому что теперь я знала, что в ней лежит то, чего я не знаю.

Вечером начался шторм. Шторм в Светломорске - это то, что случается в сентябре всегда, и случается так, как случается всё на море: сначала тихо, потом вдруг, и к восьми часам ветер был уже тот, который гоняет по улицам мусор и обрывает провода.

В девять часов кто-то постучал в калитку.

Стук был ровный, и стучали так, как стучат люди, которые стучат впервые и не знают, принято ли здесь стучать, и я пошла открывать, потому что в доме у моря в шторм стучат только те, кому нужно, и за калиткой стоял незнакомый мужчина с сумкой, и дождь по нему уже прошёлся, и видно было, что шёл он пешком и давно.

- Добрый вечер, - сказал он. - Извините. Меня к вам направили из администрации. Крылова Галина Олеговна. Она сказала, у вас дом большой, и что вы, может быть, пустите на постой. Я по маяку. Инженер. На две недели.

Он говорил ровно, и стоял прямо, и сумку держал так, как держат то, в чём есть что-то важное, и я смотрела на него и думала, что пускать в дом незнакомому человеку я в этом месяце не собиралась, и о том, что дом этот был не мой, и решать в нём мне было можно только то, что касалось вещей.

- Как вас зовут? - спросила я.

- Матвей, - сказал он. - Матвей Савельев.

- Вера, - сказала я. - Вера Андреевна. Вы понимаете, что дом не мой? Я его разбираю. Я здесь не хозяйка.

- Я понимаю, - сказал он. - Мне нужна комната и свет. Комнату я могу снять за деньги. Я не мешаю. Я на маяке работаю с утра до вечера.

Дождь шёл сильнее, и ветер шёл с моря, и калитка у меня была открытая, и всё это вместе было то, что называется решение, и решение это я приняла так, как принимаю все решения, которые касаются не вещей, а людей: быстро и без гарантий.

- Заходите, - сказала я. - Комната у лестницы. Отопление печное, свет есть, вода во дворе и в доме. Ужин не обещаю. Чай, если хотите, есть.

- Чай хочу, - сказал он.

Комната у лестницы была та, в которой раньше жил дед, и стояла в ней кровать и стол, и стол этот был письменный, и я не успела её разобрать, потому что она была последняя в списке, и теперь она пригодилась, и это было правильно, потому что комнаты в пустом доме должны быть заняты, иначе дом начинает думать, что он никому не нужен, а дома, которые так думают, начинают портиться.

Я показала ему комнату, и он поставил сумку у двери, и поставил он её так, что я заметила: сумка эта у него не простая, потому что обычные сумки ставят как попало, а эту он поставил дном к стене, как ставят то, что берегут.

Пока я ходила ставить чайник, шторм сделал своё дело: ставень на окне в сенях сорвало с петли, и он болтался и бил в раму, и звук этот в шторм слышно во всём доме.

- Я подержу, - сказал он. - Вы держите петлю.

Мы ставили ставень минут двадцать, под дождём, и ветер был такой, что слова сдувало, и мы говорили коротко и по делу, и по тому, как он держал ставень, было видно, что руки у него рабочие. Ставень мы поставили, и я сказала, что завтра привинчу петлю на место, и он сказал, что привинтим вместе, потому что одной петлю на весу держать неудобно.

Потом мы пили чай на кухне, и чай был крепкий, и сначала я спросила то, что спрашивают у постояльцев в первый вечер, потому что спрашивать это положено.

- Вы надолго в город? - спросила я.

- На две недели, - сказал он. - Может, дольше, если маяк решит иначе.
- Маяк решает? - спросила я.
- Маяки решают, - сказал он. - Все думают, что маяк - это про то, чтобы светить. А маяк - это про то, чтобы стоять. Стоять на одном месте сто лет, и чтобы все знали, где ты стоишь.
- Это похоже на дом, - сказала я.
- Это похоже на всё, что держится, - сказал он. - Вы не обижайтесь, я про ваш дом говорю как про своё.
- Говорите, - сказала я. - Дом этот ничей уже год, и говорить про него как про своё - это лучшее, что про него можно сделать.
- Я спросить хочу, - сказал он. - Вы в нём одна. Вам не страшно?
- Мне в этом доме страшно не было ни разу в жизни, - сказала я. - Я в нём каждое лето была до шестнадцати лет. Бабушка моя в нём жила одна, и не боялась, и мне не велела. Дом этот не из тех, в которых страшно. Он из тех, которые держат.
- Слова эти я сказала сама не зная зачем, и зачем я их сказала, я поняла потом.
- Держат, - сказал он. - Я посмотрю.
- Потом мы пили чай молча, и молчание это было не неловкое, а то, которое бывает у людей, которые вместе держали что-то на ветру, и такое молчание я уважаю, потому что оно честное.
- Вы надолго в город? - спросил он.
- На месяц, - сказала я. - Дом разбираю. Бабушкин. Она умерла в прошлом году.
- Сочувствую, - сказал он.
- Спасибо, - сказала я. - Она была старая, и жила долго, и это была хорошая жизнь. А вы правда по маяку?
- Правда, - сказал он. - Управление прислало. Осмотр, заключение. Маяк старый, и район хочет от него избавиться.
- Избавиться, - сказала я. - А он стоит тут сто лет.
- Сто двадцать пять, - сказал он. - Тысяча девятьсот первого года.
- Я посмотрела на него, потому что человек, который знает год постройки маяка в первый день в городе, - это человек, который приехал сюда не просто так, и он это увидел, потому что такие вещи видно, и он не стал объяснять, и это было правильно, потому что объяснения в первый вечер - это то, что портит второй.
- Комната ваша, - сказала я. - Свет до полуночи. Завтрак в восемь, если встану. И одно.
- Слушаю, - сказал он.
- Комната у лестницы окнами на улицу, - сказала я. - В комнате у маяка я работаю. Туда не заходить.
- Не зайду, - сказал он.
- Он ушёл к себе, и я осталась на кухне, и сидела с чашкой, и слушала шторм, и думала, что день был длинный, и о фотографиях, и о том, что слово "смотритель" я прочитала сегодня на бляхе, и что маяк стоит в этом городе сто двадцать пять лет, и что совпадения в моей профессии бывают, но бывают они реже, чем кажется.
- Я пошла в комнату на маяк, потому что фотографии лежали там, на столе, и я хотела убрать их обратно в конверт, и когда я вошла, он стоял в дверях.
- Он стоял и смотрел на стол, и на столе лежали фотографии, и он смотрел на них так, как смотрят на то, что узнают, и я остановилась, потому что входить в комнату, в которую велено не входить, - это не то, что делают люди в первый вечер, и потому что лицо у него было такое, какого я у него ещё не видела.
- Простите, - сказал он. - Дверь была открыта. Я шёл мимо и увидел. Это маяк?
- Маяк, - сказала я. - Вы же сами сказали, что он тут один.

Он подошёл к столу, и подошёл он медленно, и смотрел на вторую фотографию, на ту, где бабушка стояла с мужчиной, и смотрел он не на бабушку, а на мужчину, и это было видно.

- Кто это? - спросил он.

- Не знаю, - сказала я. - Бабушка. Молодая. И кто-то, кого я не знаю.

Он молчал, и молчание это было длинное, и в конце его он сказал то, что сказал не мне, а фотографии:

- У меня дед был смотрителем маяка. Где-то здесь. Давно.

Я смотрела на него и смотрела на фотографию, и внутри у меня шла та самая тихая работа, как ходит стрелка в часах, которых никто не заводит, и стрелка эта дошла до места, и место это было то, в котором часы начинают идти сами.

- На обороте написано "Апрель. На маяке", - сказала я. - И есть ещё открытка. "Если не придёшь, буду смотреть на маяк всю жизнь".

Он поднял на меня глаза, и глаза у него были серые, и в них было то, что бывает у людей, когда они приходят в место, которое искали, и узнают его не сразу, и я поняла, что человек этот приехал в мой город не просто по маяку, и что про это он мне не сказал, и что завтра я всё равно спрошу.

Шторм за окном ходил по холму, и свет маяка ходил по воде, и дом скрипел вокруг нас ровно и тихо, как дышит тот, кто слушает, и я стояла у стола с фотографиями и думала, что месяц, который я собиралась потратить на то, чтобы закрыть этот дом, начался с того, что дом начал открываться. И открывался он не для меня. Он открывался для нас двоих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.